

## «МЯТЕЖ НЕ МОЖЕТ КОНЧИТЬСЯ УДАЧЕЙ...» (ЛЕГАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО МИФА). ЧАСТЬ 2<sup>1</sup>

**Аннотация.** В статье делается попытка выявить и проанализировать воздействие революционной идеи, взятой на предельно глубинном онтологическом уровне ее существования, на процессы государственного и правового строительства. «Революционный мир», или идеология революции, реализуется в действующих правовых нормах и правовой политике. Пробный анализ позволяет обнаружить некий общий для всех исторических революций алгоритм и закономерности. Уточняя правовые различия в оценках таких явлений, как «бунт», «мятеж», «восстание» и т.п., возможно более определенно очертить и легальные рамки самого феномена революции.

Политические аспекты этого явления становились определяющими при оценке революционных действий и преобразований, в зависимости от результатов революционной борьбы определялась и ее легитимность. Что касается легальных оснований революции, то их относительный характер был очевиден. Изменяющаяся юридическая терминология, посредством которой отписывались действительные революционные акты и события, в определяющей степени зависела от фактического соотношения сил и позиции законодательной власти.

Борьба властей обозначала начало революционного этапа развития, на котором существенным образом менялись принципы государственного управления, формы правления и правовая система государства. Стремление к обновлению сочеталось с применением учредительного и правоустанавливающего насилия. Закономерным итогом борьбы становится гражданская война и наступление диктатуры, которые также в определенной степени могут быть описаны на языке права и юриспруденции. Революция, которая претендовала на глобальную значимость и перманентность, превращалась в мощную историческую силу, оказавшую влияние на становление всех современных мировых государственных и правовых систем.

**Ключевые слова:** легальность, легитимность, законность, справедливость, насилие, диктатура, тирания, мятеж, бунт, восстание, ресентимент, гнев, раб, господин, война, сословие, класс, равновесие, мир.

**DOI: 10.17803/1729-5920.2018.136.3.167-188**

<sup>1</sup> Окончание. Начало см.: Lex Russica. 2018. № 2. С. 9—29.

© Исаев И. А., 2018

\* Игорь Андреевич Исаев, доктор юридических наук, заведующий кафедрой Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 125993, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9

## 5. «СПРАВЕДЛИВЫЙ БУНТ — ЗАРОДЫШ РЕВОЛЮЦИИ»

«Во взгляде раба уже было заложено тенденциозное сведение королевского права к одному только голому насилию и к величеству “жестокости” — власть с ее пышным фасадом здесь встречается с непосредственным опытом раба». И нечто среднее между этими позициями учреждается только благодаря политико-правовым действиям самой власти, из которых она и выводит свою легитимацию в этом среднем — в праве и государстве — здесь снова встречаются сознание «господина» и сознание «раба».

При этом язык власти как всегда коварно подменяет значение «ключевых» слов: так, он именует «миром» оттягивание войны, «наведением порядка» — подавление волнений. Власть нескромно прославляет свою социальную политику, раздавая жалкие подачки, и говорит о справедливости, безжалостно применяя жестокие законы<sup>2</sup>. «Но ведь никогда нельзя говорить народу, что законы несправедливы, — он повинется им лишь до тех пор, пока верит в их справедливость, и ему следует постоянно внушать, что закону следует повиноваться, просто потому что он закон, независимо от того, справедлив он или нет. Если народ это усвоит, опасность бунта будет предотвращена, а это и есть, собственно говоря, настоящее определение справедливости». (Морализаторские же теории иезуитов, к примеру, только подрывают общественный порядок и несут серьезную опасность для публичной безопасности. Иезуитская «аскеза души» вырастает из великой идеи дисциплины и послушания, но односторонне переносится на отношения «я» к своим собственным мыслям, чувствам и стремлениям. Основной элемент в «упражнениях» Игнатия Лойолы — это перенос отношений военной дисциплины, существующей между командующим и армией, на отношения между «я» и «мыслями»<sup>3</sup>. Папа Иннокентий IV напишет: «Светская власть имеет самое низкое и нечестивое происхождение: некоторые лица возвысились посредством разбоя и убийства и сделали властителями и тиранами... Земные царства достигают легальной формы своего существования лишь тогда, когда их повели-

тели подчиняются духовной власти и получают из ее рук как легальное достояние то, что без этого подношения имело бы характер насильственного захвата»<sup>4</sup>.) Только государство с его легальными судебными инстанциями обладает данной от Бога властью над жизнью и смертью своих подданных: сам моральный порядок тогда окончательно отделяется от юридического, «форум, на котором судят о грехе, — от форума преступления»<sup>5</sup>: деморализация политики, столь ярко выраженная у Макиавелли, становится общей тенденцией в политической мысли Нового времени.

Слово «революция» появляется в христианской политической латинской литературе уже в период поздней Античности. Его упрочившийся к этому времени нейтральный смысл уже существенно отличался от смысла тех традиционных терминов, которыми обозначали восстание и в которых пропорции между справедливостью и несправедливостью всегда представлялись неравными.

Массовые возмущения, сопряженные с насилием, отличались от войны не столько правомерностью или неправомерностью применения насилия, сколько фактически возникающими юридическими отношениями между сторонами: война велась между равноправными субъектами, тогда как восстания учинялись «теми, чей правовой статус ниже, против тех, чей правовой статус выше», что не являлось, однако, категорически неправомерным. Право на сопротивление и восстание все еще оставалось крайним средством для того, чтобы насильственным путем, но легально действовать против властителя-тирана.

Но и граница между «восстанием» и «сопротивлением» тоже оказывалась довольно размытой. В законах часто прописывались тенденциозное отношение к повстанцам как к преступникам и соответствующие этому наказания (чаще всего это было в случаях полной победы той стороны, чей статус был выше). Асимметрия при определении насильственных действий для каждой из сторон еще более возрастает в Новое время: «Только тот, чей правовой статус ниже, может подняться против того, кто выше, или составить заговор против него». Если же насилие исходило сверху, тогда

<sup>2</sup> Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург, 2001. С. 263.

<sup>3</sup> Шелер М. Ресентимент. СПб., 1999. С. 145—146.

<sup>4</sup> Цит. по: Андреев А. Монашеские ордена. М., 2001. С. 302.

<sup>5</sup> Проди П. История справедливости. М., 2015. С. 398—399.

использовалось совсем иная терминология — «несправедливое применение насилия», «тирания», «деспотия». Термин уже сам по себе заключал в определении правовую и моральную оценку и квалификацию: кто «бунтует против своего законного господина, стало быть, и действует противоправно» (Найтхардт Бульст)<sup>6</sup>. (Уже начиная с XII в. законы, направленные против восстаний и смут, стали появляться также и в городских сводах права, а в XVI в. свое традиционное юридическое право на насилие потеряли сразу два сословия — рыцари и крестьяне — их «частные» войны были юридически и фактически запрещены и определены как «смута и возмущение».)

Однако термины «смута» и «волнения» все же еще могли применяться достаточно нейтрально по отношению к сторонам, участвующим в гражданской войне. «Ведь истинные смута и волнения в правлениях — очень вредные гости, и гораздо ужаснее и опаснее, чем открытая враждебная война, тем более что в войне есть хоть какой-то определенный порядок и дисциплина, то в смуте нет ни главы, ни какого-то порядка или последовательности» (М. Дравидус): порядок, «безопасность» и «сохранение государства» в юридической терминологии XVI—XVII вв. категорически противопоставлялись «вынужденным беспорядкам» и стихийным «бесчинствам».

В трактате «О восстании низов против правителей и верхов» (1633 г.) Н. Фон Рамсль предлагал правоведам прежде всего выяснить, «о чем все же должны задуматься низы, что следует им делать... когда они по некой причине восстают или уже восстали против своих правителей и верхов». Здесь важно было выявлять не только то, являются ли эти восстания «законными», но также и то, являются ли они по сути «значительными, общественно полезными», ведь иногда смуты и бунты «воспитывают правителей, предотвращают войну и нарушение мира» и дают повод для издания новых благотворных законов и улучшения порядка в правлении, предупреждают «бессмысленные нововведения». Ибо «нет большего повода к недовольству, смуте и войне, чем дурные законы и суды» (В. Зекендорф)<sup>7</sup>.

Право на восстание имело под собой основу в виде естественно-правовой традиции, склон-

ной к абстрагированию и абсолютизации своих принципов. Нарастающий массив позитивных норм, сосредоточенных на разрешении конкретных ситуаций, декретный произвол власти, ослабление роли обычая и традиции в условиях военного беззакония подрывали эту основу.

Абсолютно законные утверждения часто теряют свое преимущество, как только превращаются в позитивные предписания и законы. И поскольку нет никакой надежды на осуществление в мире приемлемого закона, никакое применение социального или политического порядка не может привести даже к малейшему улучшению. Напротив, оно повлечет за собой «гражданские войны, которые есть самое худшее из зол» (Б. Паскаль).

По замечанию Г. Гроция, несправедливость пропорциональна не тяжести вины, а ущербу, нанесенному другим. «В отношениях же между народами это положение принимает форму легитимации войн не только как средства обороны, но и как инструмента наказания, указанного традицией в случаях тяжелого нарушения естественного права»: здесь действенность естественного права как правового устройства явно ограничена войной. Разрыв между этическим миром, имеющим в своем основании природу и разум, и миром позитивного права, чья первостепенная коннотация — принуждение, здесь налицо: и только там, где это не предусмотрено, вмешивается норма, исходящая от природы и от разума, подобно «богу из машины», который здесь громко высказывает-ся о войне и о мире<sup>8</sup>.

Все правовые понятия, прилагаемые к существующему политическому порядку, в ситуации, когда ему угрожали насилие и хаос, как правило, формулировались самими властями — как «смута», «волнения», «заговор», «возмущение», «восстание» и были синонимичны латинским обозначениям беспорядка, которые издревле использовались в римском праве. Но в Средние века появилось новое определение этих обстоятельств и феноменов — «нарушение мира в стране» и «государственная измена», к которым уже в Новое время присоединяется пафосное понятие «оскорбление величества». (Нейтральными терминами, также обозначавшими эти явления, вскоре станут «раздор» и даже — «граж-

<sup>6</sup> Словарь основных исторических понятий. Избранные статьи : в 2 т. М., 2014 (далее — СОИП). Т. 2. С. 550.

<sup>7</sup> Цит. по: СОИП. Т. 1. С. 592—594.

<sup>8</sup> *Проди П.* Указ. соч. С. 384—386.

данская война». Наконец, легитимирующим беспорядок термином, появившимся уже в ходе Великой французской революции, будет «восстание против тирании, диктатуры и деспотизма».)

В кризисной ситуации «все участники событий апеллировали к праву, которое потенциально являлось как бы общим для всех, а если происходили изменения в самом политическом строе, то и они в принципе все же оставались «в пределах конечных возможностей осуществления людьми господства над себе подобными», невзирая на все политические трансформации, такие классические формы власти, как монархия, аристократия, демократия — все еще оставались вполне применимыми для политического дискурса и юридически значимыми<sup>9</sup>. (В словаре Брокгауза и Ефрона восстание, все еще оставаясь наказуемым деянием, могло уже оказаться, по крайней мере в идее своей, правомерным поступком, поскольку оно направлялось против «неправомерного господства»: народу позволительно было законным образом сопротивляться, принуждать, свергать и наказывать. Но другие словари предупреждали читателей от подобного благожелательного отношения к восстанию — предшественнику или спутнику планируемой или уже осуществляемой революции: ведь в ходе восстания преступники, руководствуясь своими политическими интересами и убеждениями, только разжигают гражданскую войну.)

Чтобы приблизить якобы лучшее будущее, государственный преступник всегда склонен ссылаться на то, что он только орудие в руках Провидения: «смута» и «восстание» тем самым приравнялись друг к другу, а их реальное политизирование стало осуществляться исключительно ради «принципа лояльности»: деполитизация же понятия «восстание» и все еще сохраняющаяся критика преследования политических демагогов здесь как бы сливались в единую позицию, в которой революция, гражданская война и восстание в конституционно-государственном плане представлялись одинаково излишними<sup>10</sup>. (Известная архаика в определении антигосударственных актов сохранялась достаточно долго. «Бунт часто

возникает в странах жарких или лежащих на большой высоте, тогда как революции чаще случаются в умеренном климате», — утверждал Чезаре Ломброзо.)

Хотя в условиях нововременного территориального государства понятие «смута» все еще и сохраняло свое первоначальное значение, но на передний план уже выступало «естественное право» как последний аргумент легитимации, когда ссылки на позитивные положения права уже оказываются безуспешными. «Так потенциально нащупывается легальное обоснование гражданской войны. Тогда межсословные столкновения обставляются все большим числом юридических моментов и ритуализированных форм сопротивления. Но само определение происходящих конфликтов по-прежнему оставалось в компетенции государственной или имперской инстанции, которая решала, начиная с какого момента бунт (в форме «сговора», «заговора», «сборища», «возмущения» или «восстания») должен быть подвергнут насильственному подавлению, если в иных процессуальных формах прекратить его не удавалось<sup>11</sup>.

## 6. «ДУХ СЕКТ» В РЕВОЛЮЦИИ

С конца XVII — начала XVIII в. «пастырские» функции переходят в ведение структур управления, которые взяли на себя функцию надзора, а поведенческие конфликты стали все чаще разгораться уже вокруг политических институтов. К этому времени начинают политизироваться и возникающие в Европе во множестве тайные общества, ставившие себе целью заговоры, политические или общественные перевороты, однако в деятельности своей все еще устремленные к смене старых «поводырей» и к целям, не совпадающим с целями официального общества<sup>12</sup>.

Поначалу секты политико-религиозного типа, как правило, образовывались в низших слоях общества, их материал — «рабы» и «подлые люди», желающие выйти из подневольного и гнетущего положения и создать для себя новые лучшие формы существования. Это был

<sup>9</sup> См.: Бульст Н., Козеллек Р., Майер К., Фиш Й. Революция (Rtvolution), бунт, смута, гражданская война (Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg) // СОИП. Т. 1. С. 522—523.

<sup>10</sup> Цит. по: СОИП. Т. 2. С. 718—720.

<sup>11</sup> СОИП. Т. 2. С. 612.

<sup>12</sup> Фуко М. Безопасность, территория, население. СПб., 2011. С. 263—265.



наиболее эффективный путь на политическую арену, где секта была намерена совершить переворот, быстрое изменение социальных форм.

Мистическая секта, несомненно, являлась реальной политической силой: все теснее и теснее группировались ее члены вокруг некоего «магического ядра, которое сначала от них было скрыто, замаскировано, являлось им в тумане нравственно-политической пропаганды, но которое затем начинало постепенно и осторожно для них раскрываться» во всей своей мистической и антисоциальной исключительности<sup>13</sup>. Секта становилась «волевым» объединением лишь достойных (по идее) в религиозно-этическом отношении людей, квалифицированных в качестве таковых и добровольно вступивших в это объединение (Макс Вебер).

Ипполит Тэн, пожалуй, первым из современников сформулировал идею таинственного «малого народа», который неожиданно появляется на свет вначале революции, используя свое превосходство, жестоко угнетает пассивное молчаливое большинство, предлагая ему некую «принципиальную свободу, разрушающую все фактически существующие свободы, некую философию, убивающую за убеждения, правосудие, карающее без суда. Осуществлялось нечто странное и абсурдное: деспотизм свободы, фанатизм разума. Таково было революционное противоречие»<sup>14</sup>, его скоро назовут якобизмом (последователями якобинцев будут анархисты и коммунары — ненависть к сильным и социальной несправедливости сохранилась и в деятельности Интернационала как мотив и средство «подготовки к великой и окончательной революции», что давало основания рассматривать эту организацию как ассоциацию, враждебную принципу власти и основанную для того, чтобы свергнуть его, создав такой социальный строй, при котором бы никто не повелевал и никто не подчинялся<sup>15</sup>).

«Сообщества избранных» или «тайные общества» оказывались одной из форм организаций, обладающих устойчивыми признаками, к которым обычно обращаются в моменты, когда «первичная» политическая организация об-

щества уже не может удовлетворять всем возникающим требованиям: братства проявлять активность только «зимой», в трудный критический период, когда официальное общество стареет, а потрясения и активность, привносимые братством, могут вернуть ему молодость и жизнь. Роже Кайуа набросал контуры законного, вполне легального функционирования тайных обществ: «малые» общества, развивающиеся внутри «большого» общества, которое эволюционирует, сами переходят от состояния «динамичного» общества к состоянию стабилизированной формации: динамизм, правда, пытается возродиться и в разного рода движениях, направленных против форм нарастающей стабилизации, являя себя в форме сект и настойчивого протестантизма (Марсель Мосс в этой картине выделяет именно легалистский аспект: ведь вопрос стоит относительно легальности или нелегальности тайных обществ именно с точки зрения нашего общества. Способ интерпретации, рассматривающий это общество исключительно как враждебное для государства, является явно недостаточным. Но если рассматривать его только с этой точки зрения, оно действительно выступает как заговорщическое, однако выполняющее необходимую регулирующую функцию: его же достоинством является тот факт, что только оно и обеспечивает наиболее решительное и оперативное отрицание «принципа гнетущей необходимости», во имя которого объединения людей сотрудничают в «суете своего существования»<sup>16</sup>). Нарождающиеся политические партии со своими оптимистическими обещаниями станут достойными продолжателями этой сектантской идеи.

Требовались тяжелый военный разгром или глубокий институциональный кризис, длительное и безысходное расстройство — т.е. некая великая слабость, с одной стороны, и необычно большая сила — с другой, чтобы произошла настоящая революция. Такие совпадения бывают нечасто: у общества есть необходимые инстинкты самосохранения, оно тонко чувствует опасность и уже предварительно прибегает к репрессиям. Но, делая это, оно лишь усиливает общественное доверие к секте, работаю-

<sup>13</sup> Овсяннико-Куликовский Д. Сектанты. М., 2017. С. 89.

<sup>14</sup> Цит. по: Кошен О. Малый народ и революция. М., 2004. С. 169.

<sup>15</sup> Цит. по: Ломброзо Ч. Политическая преступность и революция. М., 1998. С. 180.

<sup>16</sup> См.: Кайуа Р. Братства, ордена, тайные общества, церкви // Коллеж социологии. СПб., 2004. С. 152—162.

щей для его же гибели, указывает на нее как на своего главного врага, а оттого направляет к ней и всех своих перебежчиков, и, хотя на его стороне многочисленность, богатства и могущество, изнутри оно уже поражено раздорами, неверием, ленью, трусостью». Такое общество долгое время слагалось из одних лишь привычек, инерции и эгоистических интересов, которые поддерживали видимость порядка.

Бунтари же, опираясь только на собственную волю, обретают тем самым и все недостающее им: их мало, но они смелы, пылки, неутомимы. «Они последовательно завоевывают власть, лишь внешне соблюдая правила политической игры: вот тут-то и приносит свои плоды та суровая дисциплина, которой всегда была подчинена их секта. Толпу, склонную безоговорочно говорить “да” или “нет”, ищущую повода для восторгов и великих “упований”, быстро очаровывают их посулы, знамена и страсти». «Итак, как она не ведает истины, дарующей освобождение, для нее благо быть обманутой» (А. Грамши будет упрекать Бенедетто Кроче в том, что тот «отождествляет политику со страстью», что объяснялось, однако, тем, что Кроче исходил из концепции перманентной борьбы, для которой сама ее инициатива базируется на «страсти»: и поскольку исход борьбы никогда не может быть предрешен, поэтому и надо вести постоянные атаки. И не может быть страсти без антагонизма. Власти и вожди искусно пробуждают страсти толпы и «ведут ее на борьбу и на войну», но в данном случае не страсть является причиной и сутью политики, а само поведение вождей, которые при этом остаются холодными рационалистами<sup>17</sup>).

Радикалы не ограничиваются только частичными реформами, а желают резкой переменны сразу всех институтов и нравов. Партии такого типа, выросшие из сект, являются уже чем-то совсем иным, чем обычные и традиционные политические объединения: «Они как бы находятся вне закона и сами стремятся... подменить правильную конкуренцию безжалостной борьбой, которая, по их представлениям, должна завершиться полной и окончательной победой. Но с этого момента они уже не партии, а снова секты: они считают уста-

ревшими условностями нормы морали и права, они насильственным путем идут к разрушительным целям<sup>18</sup>. При этом чаще всего они прикрывают свою подрывную работу легалистскими лозунгами и ссылками на закон. «Секта может поставить своей прямой задачей завоевание власти в стране, где она создана». Тогда она становится как бы похожа на политическую партию, и у нее как будто такой же статус, и она стремится к такой же цели. «Но вскоре общество распознает грозящую ему опасность: под показным уважением к своим институтам и обычаям оно замечает твердую решимость уничтожить их».

Репрессии только укрепляют солидарность в секте: в ответ она требует от общества «таких прав, которых сама же поклялась его лишить». Достигнув своих целей, секта господствует над нацией, не утрачивая своей суровости и внушая обществу свой дух<sup>19</sup>. Секта передает завоеванному обществу стиль, который она выработала еще в подполье (Жозеф де Местр уже давно говорил о «скрытой силе», которая обманывает верховную власть и заставляет ее разрушать самое себя собственными руками)<sup>20</sup>.

Декреты и законы, созданные «малыми обществами» и идейно подготовленные еще в подполье, закреплялись фактической победой сектантов. Их легитимность была пропорциональна силе победителей.

«Малое» общество вырастало вокруг большого, оказавшись на деле значительно более активным и сплоченным, чем казалось ранее, и ему не составляло особого труда начать по своему произволу управлять «большим» без его ведома: «Мнение может быть навязано как всеобщее, если считают, что оно кем-то поддержано, а для того, чтобы тянуть за веревочки, их надо скрыть». Закон механического и безличного управления голосующими — это только тактическая необходимость «затеряться в толпе, ведь когда несвоевременно становятся известны настоящие предводители восстания, оно в тот же момент прекращается». Зато факт занимает место обсуждения, все, что ограничивает деятельность «малого общества» — а именно легальные границы — в целом игнорируется<sup>21</sup>.

<sup>17</sup> Кайуа Р. Дух сект // Игры и люди. М., 2007. С. 269—271.

<sup>18</sup> Грамши А. Наука политики. М., 2017. С. 57—58.

<sup>19</sup> Кайуа Р. Дух сект. С. 278.

<sup>20</sup> Виат О. Граф Жозеф де Местр // Ж. де Местр. Санкт-Петербургские вечера. СПб., 1998. С. 616.

Революционеры — своего рода монахи, как бы заранее обреченные в жертву ради своей веры. Отрекшись от жизни как в ожидании казни, служа своему великому замыслу, они не ждут от мира, с которым борются, ни правосудия, ни жалости. Они борются только за то, чтобы разрушить его и заменить другим — миром славы, счастья и справедливости. С точки зрения этого мира «они действительно преступны, ибо отделились от общества, дабы низвергнуть его. Поначалу их суровая нравственность действует только в их собственном кругу. По отношению же ко всем прочим у них нет ни веры, ни закона... Если же напряжение и давление на них слишком усиливаются, они... начинают вести себя как те, кем их и считают, — как настоящие преступники». Тогда они полностью разрывают с обществом, в котором живут, — только такой ценой дух секты и способен выстоять против всех бед<sup>22</sup>. Чтобы объединиться, надо обособиться, поэтому изначальным политическим актом является акт отделения, но тем же актом создается и новая ассоциация людей, отрывающая «новую эру и новый календарь».

Со временем, принимая в свое все расширяющееся сообщество «всех подряд», секты объявляют уже «весь взбудораженный народ» предназначенным к ничем не оправданному владычеству над остальными: «Кровью, историей или границами создается тогда уже не единство желаний, а настоящее религиозное братство между людьми. Прошлое предопределяет собой будущее и окутывает общей судьбой всю разнородную массу людей, где теперь еще больше обычного начинают преобладать худшие». Большинству отказывают в правах, оно предназначено для рабства. От мобилизации не ускользает ничто, и каждая частная энергия должна вырабатывать максимальное усилие. Собираемые таким образом в ходе национализации и милитаризации силы могут быть использованы для завоевания всего мира. «Дух сект рождал грозные inferнальные доблести», которые рисковали увлечь общество в «головокружение», где оно утратит покой, честь и свободу<sup>23</sup>. Дух сект легально

и нелегально стремился воспитывать породу «господ».

Особенностью больших революций (английской, французской, русской) было то обстоятельство, что ни одна из них не пыталась вербовать сторонников, предлагая «уменьшить реальное политическое тело нации», замкнуться в национальных границах, — каждая из них тяготела к созданию такого политического порядка, который по своим масштабам превосходил бы все, что предпринималось прежде в этом направлении. «Нечто, что уже как-то существовало до революции, реформируется и трансформируется революционерами с той целью, чтобы каждый теперь мог функционально участвовать в циркуляции крови нового политического тела, сделанного из этого старого нечто». (Так, великие революции не могли отказаться от реалистических требований централизации, в отличие от тех малых бунтов, которые некогда угрожали разрушить общественное единство<sup>24</sup>.)

Поэтому «великие революции» можно рассматривать как высшее проявление «возможностей, содержащихся уже в сектантской гетеродоксии, рожденной там, где политическая сфера рассматривалась только лишь как одна из сфер реализации фундаментальных трансцендентных представлений, включая потусторонние ориентации и компоненты: Град небесный тем самым переносился в Град земной. Исторические истоки этих представлений оказывали заметное влияние на Возрождение, Реформацию и Просвещение: «именно эти исторические корни великих революций... и придают им специфику, отличают их от других повстанческих или протестных движений. В ходе революции эти сектантские движения становились составной частью большого общества и жизни его центров, соединившись с восстаниями, народными движениями и политической борьбой в центре. (По-настоящему только социалистическим движениям удалось соединить страстный протест восстания и инакомыслия с активной реалистической политической строительством новых институтов и формированием центров<sup>25</sup>.)

<sup>21</sup> Котен О. Указ. соч. С. 248—250.

<sup>22</sup> Кайуа Р. Дух сект. С. 271.

<sup>23</sup> Указ. соч. С. 289—290.

<sup>24</sup> Розеншток-Хюсси О. Великие революции. М., 2012. С. 299—300.

<sup>25</sup> Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. М., 1999. С. 31—32.

## 7. ЯВЛЕНИЕ «РЕВОЛЮЦИИ»: ДВУСМЫСЛЕННЫЙ ТЕРМИН

В драме Имре Мадача «Трагедия человека», написанной по мотивам поэмы Мильтона, Люцифер произносит такие слова: «Страна»... «Народ»... Понятий этих больше нет в помине... Когда-то мы с понятием “Отчизна”, предубеждениями глупыми ведомы, носились... Теперь “Отчизна” людям вся земля, плечом к плечу они вперед шагают. И над единым, гармоничным строем наука бдит, диктуя общий ритм» (сцена двенадцатая).

Сцена включает обстановку фаланстера, где безвольные и запуганные люди обслуживают машины, которые вскоре станут их настоящими господами. Призыв к равенству и свободе ведет к новому господству и подчинению, в атмосферу тьмы и озлобленности. Закон здесь заменен организационно-техническими нормами. Зло же по-прежнему шествует под знаменем ненависти и зависти, играющими главную роль как в институциональных переворотах, так и в духовных отношениях (еще Гете в «Венецианских эпиграммах» говорил о коварстве демагогов: «Все апостолы свободы были мне противны: в конечном счете каждый из них стремился к произволу для себя»). Творческий дух издавна питал неприязнь к политическим переворотам и неограниченным разрывам. Ведь в условиях демократии организаторам переворотов в большей степени присуще сознание именно разрушителей, чем созидателей — каждый разрыв поэтому есть настоящий «прыжок во тьму» (Отмар Шпанн)<sup>26</sup>.

Каждая революция непременно создавала из одной общности людей минимум две враждебные группировки: для человечества, принявшего идею равенства всех людей, всегда и повсюду любая война становилась гражданской войной, только место войны теперь занимала революция. Двоевластие или «многовластие» — вполне нормальные состояния для революционной поры: к единовластию революция приходит только в последнем акте своей драмы, идея же централизации проникает в нее из старого мира.

Сама революция неизбежно несет риск хаоса, когда она чувствует, что старый порядок умер: «Когда дух покидает тело общественно-го института, тогда и вспыхивает революция».

Вдохновению, этой движущей силе растущего единства, потребен и некий всеобщий способ выражения, без которого оно не могло бы расширить сферу своего влияния: «В этой роковой дилемме — банальный и рутинный, но хорошо организованный язык умирающего прошлого, с одной стороны, и вдохновенная вера группы, не имеющая видимых или слышимых способов самовыражения — с другой — в этой дилемме универсальная история поставляет лидерам будущего присущие им общие формулировки, она дает революции общепонятный язык: призыв истории, обращение к ней дает революции связь с реальностью в самый опасный момент призрачности и хаоса»<sup>27</sup>. На языке прошлого революция записывает свои новые законы, традиция цепко держит рвущиеся вперед преобразования.

Первоначально само слово «революция» действительно было только астрономическим термином, обозначавшим вечное, непреодолимое и постоянно повторяющееся движение, и только в XVII в. это слово окончательно утвердилось в качестве устойчивого политического термина. Артикулированное понятие «политическая революция» возникло уже в Новое время и в политическом дискурсе Европы изначально обозначало некие масштабные перемены, великий мятеж, свержение правителя и изменение государственного строя: по аналогии с астрономическим круговым движением звезд изменение государственного строя также стало толковаться как круговорот и возвращение, но с XVIII в. это понятие стало формулироваться как исторически необходимая перемена вообще. Но еще в XIV в. астрономическое значение слова «революция» эпизодически уже переносилось в область политического, где оно стало описывать специфику политических круговоротов государственных систем и форм. Понятие тем самым приобретало квазиприродное и метаисторическое значение, включив в себя такие качества и характеристики, как необходимость и цикличность. Романтики придали этому явлению элемент чувственной апокалиптики, заимствовав его из средневекового мировосприятия: «Революционное желание осуществить Царство Божие стало основным вопросом всякого прогрессивного образования и началом “современной истории”» (Фридрих Шлегель), «священная революция»

<sup>26</sup> Шпанн О. Философия истории. СПб., 2005. С. 226—227.

<sup>27</sup> Розеншток-Хюсси О. Указ. соч. С. 429—430.



приходит на землю, как «мессия во множественном числе» (Новалис).

Революция в смысле «переворота» вскоре стала обозначать как некую политическую цель в будущем, так и циклическое историческое «возвращение»: в революции в синхронном аспекте тем самым всегда была заключена и «контрреволюция», в диахронном же аспекте «революция» и «контрреволюция» всегда способствовали возникновению друг друга (Райнхардт Козеллек).

Философы Просвещения говорили о революции как о количественной «перемене, которая своей быстротой обещает нечто гораздо большее» (Д'Аламбер). «То, что было в XVI в. (Ренессанс), было бурной революцией, а наша — тихая», — говорил Вольтер. «В некоторых государствах бывает эпоха, которая становится необходимой, эпоха эта ужасная, кровавая, но она — настоящий сигнал свободы: я говорю о гражданской войне» (Мерсье)<sup>28</sup>.

Предполагалось, что английская «славная революция», которую можно рассматривать и как контрреволюцию, станет окончательным и решающим сверхчеловеческим вмешательством небесных сил в земные дела, образчиком этого славного дела, в Конвенции 1688 г. говорилось: «Нигде мы не найдем более ясного и наглядного примера, чтобы рука Господа была столь явно видна в делах человеческих... чем в происходящей сейчас Революции»: реставрация свободы здесь как бы увековечивалась волшебным словом «революция» — и для того, чтобы показать существенную разницу между итоговой «славной революцией» и спонтанными восстаниями снизу, использовались даже аналогии с землетрясением. (Стихийность и иррациональность революции происходили из тех же самых источников, которые были свойственны и политике, и власти как таковой. В мемуарах Людовика XIV говорится: «Мудрость требует, чтобы в определенных условиях многое отдавалось на волю случая. Даже сам разум рекомендует нам следовать слепым влечениям инстинкта, которые ускользают от нашего разума и кажутся упавшими с неба»<sup>29</sup>.)

Г. Форстер увидел в революции настоящее явление природы, законы которого непознаваемы. Ясно только одно — революция приобретает неудержимый размах и с нарастающей скоростью мчится вперед, вовлекая в себя все большие массы: эта всепоглощающая сила не есть нечто интеллектуальное и разумное, она — прежде всего сила массы. Она обеспечивает «непредсказуемому механизму народной силы» ее историческое право: в ней «воля народа достигает своей наивысшей подвижности, и великая светлая масса разума, которая еще наличествует», подчиняется этой воле<sup>30</sup>. Сокровенное стремление к чему-то неведомому и сакральному определенно сближало «революцию» с тремя архетипическими традиционными формами, заимствованными из теологии: Воскресением, Воплощением и Воздаянием.

Еще в XVII в. революцию редко называли «революцией», это слово означало скорее регресс, чем прогресс, реставрацию, «возвращение на первоначальное место»: «Вся ее политическая эволюция, как одного из архетипических понятий и мифологических символов... определялась тем, что мы можем назвать метафорическим императивом». Семантически она сближалась с искрой и пламенем, рекой и потоком, бурей и ураганом, но прежде всего — с кругами времени и небесными движениями: «Рожденная в таинственных, но законосообразных сферах небес, только астрономическая революция, и она же обращение, могла как фигура речи и фигура мысли дать политическому сознанию особое удовлетворение с неким оттенком освященности»<sup>31</sup>.

Будучи поначалу только общим наименованием некоего политического повторяющегося движения, стоящего в политическом лексиконе наравне с «битвой», «войной» и «нашествием», традиционным синонимом «бунта», «беспорядка», «восстания» и «мятежа», революция в XVIII в. становится одним из самых характерных и могущественных понятий — в сознании многих она становится заменителем даже таких понятий, как «государство», «правительство», «церковь» и «король»<sup>32</sup>.

<sup>28</sup> Цит. по: СОИП. Т. 2. С. 620—621.

<sup>29</sup> См.: Розеншток-Хюсси О. Указ. соч. С. 202.

<sup>30</sup> Цит. по: СОИП. Т. 2. С. 636.

<sup>31</sup> Ласки М. Утопия и революция // Утопия и утопическое мышление. М., 1991. С. 192.

<sup>32</sup> Розеншток-Хюсси О. Указ. соч. С. 110.

«Революции» древности представляли собой лишь эпизодические и непоследовательные попытки достижения такого жизненного положения, при котором только и становится возможным спокойное, в самом себе сосредоточенное существование, эти революции имели своеобразный оборонительный характер. «Начиная с Клеона и до Спартака восставшие думали лишь о потребностях данного момента, и никто даже не пытался создавать некий общий новый порядок античного жизненного строя» (Освальд Шпенглер противопоставлял этим тенденциям и формам три великие революции Нового времени: «Английский инстинкт привел к решению, что власть принадлежит личности», а не государству; «французский инстинкт» решает, что власть не принадлежит никому, неся равенство и идейный анархизм; немецкая же революция возникает из теории, что власть принадлежит целому: этот прусский инстинкт, по сути, вообще враждебен революции)<sup>33</sup>.

Новая терминология как бы освятила революцию в качестве законного события — законного природно, а не только политически: с ней «что-то большее, чем законность, вошло в Западный мир»: еще в XVII в. термин использовали в смысле, который предполагал параллель между «сменой правительства и великими перемещениями звезд, в Средние века политика считалась полностью зависимой от вращения колеса фортуны». (Гоббс говорил: «Я видел в этой революции круговращение суверенной власти между двумя узурпаторами... Ибо она перемещалась от короля в Долгому парламенту, от него к толпе, от толпы — к Оливеру Кромвелю... потом — снова к толпе, снова к Долгому парламенту, и от него уже — к королю»<sup>34</sup>.) Но когда революция становится природным явлением и понятием, она высвобождается, выходит из всякого правового поля.

Спонтанный характер революции был для всех как бы очевиден: ее никто не проектирует, никто не «делает», не мастерит настоящей революции; но когда она наступает, то это значит, что такая насильственность развития была просто необходима. Но если общественное

развитие не задерживать и не затормаживать, и если государство обладает подходящим для этого реформирующим началом и ресурсом, то нет и никакой необходимости и даже никакой возможности для возникновения революции: революцию всегда можно предотвратить реформами (Pуге)<sup>35</sup>, но сама природа не в состоянии устранить несправедливость, как утверждал еще Лукреций.

В политической теологии Ф. Баадера революция выглядела как «самовоспаление» и «саморазложение», как следствие отпадения человека от Бога и «принятия им на себя ответственности перед временем»: Для него было только два пути — «либо социальная переориентация, либо революция, — стать ли хозяевами времени, или же, не наперстав и не предупредив эволюцию реформацией, добиться лишь того, чтобы само время обратилось против нас революцией»<sup>36</sup>. Но управлять революциями, когда они уже начались, никто не в силах (Виланд). Революция разворачивается самостоятельно, принимая тот или иной оборот и внезапно: «Деспотическая монархия будет отменена революцией, которая произойдет сама собой, как происшествие, входящее в естественные измерения человеческого рода, которое возникает само собой и без договора, точно так же, как образуется сама собой и верховная власть» (Эрхард). (Ханс Фрайер предлагал вообще отказывать революции в каком-либо целеполагании, чтобы вывести ее из-под действия механического причинно-следственного детерминизма<sup>37</sup>.)

«Революция» приобретает свое современное семантическое звучание именно в эпоху Просвещения, тогда его первоначальное значение как возвращения, возврата дополняется еще несколькими уточняющими смыслами — поворота, изменения положения дел: применительно к политике это обозначало существенные перемены в правлении и административной области. П. Бейль замечал: «После того как законность единожды нарушена — особенно при смене правителя на троне, — каждое следующее изменение государства становится все легче»<sup>38</sup>. Понятие приобретает

<sup>33</sup> См.: Шпенглер О. Прусская идея и социализм // Пессимизм? М., 2003. С. 144—145.

<sup>34</sup> Цит. по: Розеншток-Хюсси О. Указ. соч. С. 282.

<sup>35</sup> См.: СОИП. Т. 2. С. 671.

<sup>36</sup> Цит. по: СОИП. Т. 2. С. 670.

<sup>37</sup> См.: Фрайер Х. Революция справа. М., 2009. С. 97.

<sup>38</sup> Цит. по: СОИП. Т. 2. С. 612—613.

черты, свидетельствующие еще и о «внезапности, величии и удивительности» революции, но вместе с тем с революцией все еще ассоциируются старые понятия «смуты», «беспорядка» и «перемен».

К концу XVIII в. понятие «революция» приобретает еще и черты долговременности, более того, исторически и морально обоснованной необходимости. Она теперь означает особенно полное изменение в строе государства, когда монархия преобразуется в республику, а та в монархию, или когда насильственным образом меняется базовый порядок престолонаследия: в любом случае это ассоциировалось с переворотом в государстве. Новое понятие впитало в себя реальный опыт стран, прошедших через революцию, — в ней уже увидели откровенное насилие, неуправляемые, стихийные, действующие помимо государственного строя силы. «Долговечные изменения, не поддающиеся институциональному управлению, и спонтанное насилие — вот два компонента, составляющие то новое понятие революции, которому суждено было сделать карьеру в XIX веке» (Р. Козеллек)<sup>39</sup>: новое понятие подняло такие уже устоявшиеся определения, как «беспорядки», «война», «гражданская война» над уровнем чисто теологического или узкоюридического толкования, введя их в область более широко-го «физико-политического» осознания.

## 8. НЕОДОЛИМАЯ СИЛА

Революции только «строят колыбель» новому человеку, в которой он воспроизводит себя определенным образом и в соответствии с определенным типом. Но и насилие также лежит в основании каждого нового государственного образования: «Едва ли есть в мире государство, чье начало можно было по совести оправдать» (Гоббс). И папа Пий II говорил, что «королевство покоряют не законность или добродетель, но завоевания». Это вулканическое, беззаконное или дозаконное происхождение любого правительства давно занимало умы людей мыслящих<sup>40</sup>.

Революция овладевает людьми как страсть, которая приводит прежде всего к внутренним «личным революциям и восстаниям», после чего разум уже не в состоянии завершить революцию, он может только осмыслить ее уже после того, как она произошла.

Каждая серьезная революция начинается с «великого страха». Лютер писал: «Знамена природы определенно указывают на политическую революцию... указывают посредством войн». Ранке красочно описывал Реформацию: «Когда имперские власти стали подозрительны друг для друга и для самих себя, основные силы, на которых покоилась империя, стали угасать. Молния ударила из земли, прекратились обычные течения общественной жизни; шторм, рев которого так долго был слышен в глубине, поднялся в верхние слои: все, казалось, было готово к совершенному перевороту»<sup>41</sup>.

В каждой сколько-нибудь значимой революции обнаруживаются своеобразные «социалистические эмоции и ожидания», они предполагают наличие авторитета и порядка, устанавливаемого законом<sup>42</sup>: но любая революция связана с ослаблением легитимной власти и всегда найдутся желающие поверить в то, что это означает нечто иное, как вседозволенность. Нереалистические требования низших классов после распространения демократических институтов порождают дополнительную напряженность между теоретическими провозглашенными правами и практической невозможностью пользоваться ими. Поэтому все реальные революции для снятия напряжения очень скоро начинают применять все те же деспотические меры и ограничения гражданских прав, на существовании которых до этого момента были основаны их собственные обвинения против общества: недостатки своих предшественников революционное общество превращает в настоящие достоинства, понятия «закон» и «преступление» начинают извращать в таких масштабах, которые в прежние времена просто привели бы к революции<sup>43</sup>. (Реформация, которая была самой настоящей революцией, восприняла тенденцию к секуляризации от самого абсолютизма: «рево-

<sup>39</sup> СОИП. Т. 2. С. 615.

<sup>40</sup> Розеншток-Хюсси О. Указ. соч. С. 384.

<sup>41</sup> Цит. по: Розеншток-Хюсси О. Указ. соч. С. 387.

<sup>42</sup> Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М., 2002. С. 72.

<sup>43</sup> Шек Г. Зависть. М., 2010. С. 472—477.

люция», по Лютеру, не устанавливает новый секулярный порядок, но только постоянно раскачивает «основы всех мирских норм, максимум установлений»).

Революция живет неоправданным предвосхищением, которое меньше всего имеет дело с практическим результатом и политикой в ее банальном смысле: в мир является нечто большее и более чудесное, чего «целые поколения боялись как последнего смертельного удара по цивилизации», и вдруг в нем узнают чаемое приближение нового часа истории: «То, что прежде означало конец или смерть, теперь называется началом и рождением — лидеры революции сами переименовали эпоху»<sup>44</sup>. Но как бы по другую сторону истории видят в революции спасение человечества — ведь только временными являются все правительства, законодатели, государство. Все это слишком уж исторические силы, а само спасение человечества — в упразднении истории. (Так, календарный символ 1 мая, «первого дня перманентной революции», как бы стремится уничтожить старый календарь и историю вообще и погрузиться в вечно возвращающиеся волны предистории<sup>45</sup>.) Революционные силы несут в себе новую государственность как субстанцию своей воли<sup>46</sup>.

Все мировые революции начинались «безотносительно к конкретному пространству и с некоей абсолютной программы сразу для всего человечества в целом, с чудесного видения «новой земли». Все они полагали себя носителями вечной и безусловной истины. И лишь очень неохотно возвращались они обратно, на старую грешную землю, когда каждая революция для себя совершала вдруг болезненное открытие, что она все-таки обусловлена географически: «История первого революционного периода — это нечто иное, как история этого напряженного процесса обживания, пускания корней в определенную почву», когда же революция перестает верить в свою универсальность и теряет надежды на экспансию, тогда ей приходит конец.

Но то, что первый — шумный, мятежный и фанатичный — период так и не смог сделать, неожиданно завершается в период снижения

и упадка, когда формы революции становятся уже предметами экспорта: «Духовное присутствие старшей революции каждый раз подгоняло ее младшую сестру... Осознание уже достигнутых форм правления удерживало молодые революции от падения в хаос и обостряло их ощущение того, что они должны достигнуть значительно большего»<sup>47</sup>: всякая революция служит «пробой для следующей» (Макиавелли). Революционные нововведения всегда оказывались связанными с изменениями в более интеллектуализированных представлениях о природе и социальной жизни, в них диалектически сочетались «движение, которое производит изменения, и движение, которое возвращает к отправной точке».

Революции часто и воспроизводятся в тех формах, в которых они уже происходили в прежние времена. (Парижская коммуна вдохновлялась образом революции 1789 г., а эта последняя — жакериями; «баррикады сделались в Париже столь же обычными, как военные бунты — в Испании, политические убийства — в России, политический разбой — в Греции».) Влияние традиций сказывалось на том, что революции, не сумевшие поддержать их престижа, не удаются, и чем дальше отходит новый строй от старого и традиционного, тем менее прочны его завоевания: революции, опирающиеся на старые правовые понятия и учреждения, почти всегда оказываются более удачными, поэтому, «реформируя государство, следует удерживать хотя бы тень древних форм» (Флорантен)<sup>48</sup>.

Во Французской революции к новой концепции социальной жизни и нетрадиционным образцам легитимации присоединяется фактор легитимного насилия. Но еще ранее в революционном движении зазвучал призыв к «возвращению в Золотой век», парадоксальным образом делавший упор на новизну и стремление порвать с прошлым. На основе стремления к переустройству социальных и политических порядков происходило слияние обеих ориентацией с нормами социального взаимодействия и принципами справедливого распределения, обоснованием институтов, легитимацией собственного порядка, с при-

<sup>44</sup> Розеншток-Хюсси О. Указ. соч. С. 455.

<sup>45</sup> Указ. соч. С. 101.

<sup>46</sup> Фрайер Х. Указ. соч. С. 81.

<sup>47</sup> Розеншток-Хюсси О. Указ. соч. С. 376, 382.

<sup>48</sup> Цит. по: Ломброзо Ч. Указ. соч. С. 181—185.



знаками доступа к власти<sup>49</sup>: здесь уже просматривались основные черты той самой «чистой революции», делающей упор на новизну, насилие и всеобъемлющий характер перемен.

С началом Великой французской революции стало очевидным, что революция представляет самое неизбежное и необходимое применение силы и что «носителем этой силы является народ»: гражданская война и персонифицированная власть народа стали составлять ядро совершенного «чистого» понятия революции. (Но П. Верньо предупреждал: «Подобно Сатурну революция пожирает собственных детей». Партийные расколы, подозрительность, террор и диктатура принимали поистине мифологический масштаб. Спираль страха и подозрительность одновременно с насилием порождали и самих врагов, которых надлежало уничтожить: тогда же появилось и новое понятие — «контрреволюция».)

Революция — это та точка, где чувство совершенства и утопия соединяются с потерей умеренности (М. Ласки). Люди, желавшие народу блага, сознавали, что несовместимо с его подлинными интересами «легкомысленно предаваться волнениям, которые в результате могут привести к введению новой тирании на развалинах существующей» (Ф. Буонарроти): речь здесь шла о сосуществовании в людях мечты и отчаяния, о таком их духовном упоении и страсти к насильственным средствам, когда одно становится немыслимым без другого.

Новое общество начинало представляться невозможным без предварительного революционного обета, и революция — это только первый инструмент приближения будущего; сокрушение — это «прелюдия к освобождению: точное знание состоит не в понимании принципов устройства, а в социологической неизбежности революционного движения». Все утописты — революционеры, но не все революционеры — утописты: «Реформа — только если возможно, революция — если необходимо»<sup>50</sup>.

Идея неодолимости, неподвластности революционного движения регулируемому влиянию человека была дополнена уже в середине XIX в. энергичным понятием «перманентная

революция» — «нет отдельных революций, есть одна непрерывная революция» (Прудон). Вместе с тем обращенность к прошлому превращала всё, относящееся к политике, — дела, слова, события — в сплошную историческую необходимость, она скоро и заняла место идеи свободы, которая питала первоначальный пафос революции. Люди революции как будто бы твердо знали, что революция должна совершаться в виде ряда последовательных революций и что явный враг сменится тайным врагом под маской «подозрительного», и что революцию может спасти только «человек центра», и что «революция пожирает своих детей». Такое знание порождало саму реальность. Эти же люди поначалу отваживались бросать вызов властям, чтобы оспорить все земные авторитеты, но затем безраздельно отдались зову исторической необходимости: робеспьеровский деспотизм оправдывался исторической необходимостью, обусловленной первейшими насущными потребностями народа, — именно они были объявлены той причиной, по которой и был развязан террор: «Не заговор королей и тиранов, но более могущественный заговор необходимости и бедности не позволял воспользоваться историческим моментом и увел революцию в сторону. Революция изменила свое направление: свобода более не являлась ее целью, целью стало счастье народа»<sup>51</sup>. Власть заранее заручилась эффективным и постоянным присутствием коллектива, надзор за «непатриотичностью» ей был обеспечен: власти достаточно было заявить, чтобы «направить на эгоизм каждого эгоизм всех». Такое сдерживание страсти страхом — при социальной демократии называется добродетелью. «Нельзя сказать, что это зло, так как формально преступления не было. Но это нечто худшее»: центр царствовал, машина власти оформлена — это самое большое орудие угнетения, ибо сфера ее деятельности не имела границ (как у нации, кооперации) как бывает у реальных обществ<sup>52</sup>.

«Ответственность должна падать на толпу, несмотря на всю неопределенность ее как имени собирательного», — настаивал С. Сигеле в «Преступной толпе». Преступление, совершенное толпой, должно и судить

<sup>49</sup> Эйзенштат Ш. Указ. соч. С. 226.

<sup>50</sup> Ласки М. Указ. соч. С. 180—183.

<sup>51</sup> Арендт Х. О революции. М., 2011. С. 74—77.

<sup>52</sup> Кошен О. Указ. соч. С. 252, 261.

ся отлично от «того преступления, которое совершенно одним лицом. Душа толпы существует, несмотря на то, что непонятной остается ее внезапная организация и отсутствие предварительного стремления к общей цели. Стихийность и воображение — стиль этой «души»<sup>53</sup>. (Каждая форма цивилизации обладает собственным образом, воплощающим конец или начало мира. Так, доктрины авторитета и антихриста вернули людям Средневековья определенный интерес к истории мира. Каждая новая сфера цивилизации отделяется от предшествующей как раз по тому моменту, когда та теряет интерес к горизонту прежнего исторического видения: перманентная революция оказалась тоже ограниченной возможностью бесклассового общества без государства, английская революция очерчена человеческой гордыней, Люцифером и падением ангелов; воззвания Лютера оканчиваются образом непостижимого Царства Божьего, которое всегда только впереди. Но для Робеспьера падение ангелов уже свершилось и Люцифер уже правит: и Кромвель полагал, что Царство Божие должно находиться уже здесь или нигде<sup>54</sup>. Еще ранее дорогу Страшному суду прокладывал «священный император», знающий, что жизнью человечества и звезд движут одни и те же законы и силы и что «революции мира навсегда прилагаются к обществу» (Данте).

«Революция» как прогрессивное понятие, обращенное в будущее, преобразила даже гражданскую войну, превратив ее из самостоятельного явления в необходимый промежуточный этап на пути к свободе (Р. Козеллек), негативное понятие, которое прежде служило синонимом «мятежу», государственному перевороту» и «гражданской войне», вдруг поблекло, уступив место новой прогрессивной направленности, структурирующей историю: «все в этом мире — революция» (Мерсье), и у Руссо также понятие революции оказывается тесно связанным с общим понятием мирового кризиса, возвращая себе тем самым прежде эсхатологические черты. Вместе с тем уже с большим пессимизмом Дидро прогнозировал грядущую революцию как продукт страха и анархии, страха и свободы: в результате нее

неизбежно придет диктатура великого человека, которому опьяневший от свободы народ добровольно подчинится<sup>55</sup>.

## 9. «ВОЙНА ПО ЗАКОНУ»

В пятьдесят третьем фрагменте у Гераклита утверждается: «Война (“полемос”) — отец всех, царь всех; одних она объявляет богами, других — людьми; одних творит рабами, других — свободными». Всякая революция рождается в этом жестоком соединении сил, враждебных и противостоящих друг другу. Это — справедливость факта.

У Тита Ливия «справедливой войной» называется война, которая сама по себе необходима. Взаимосвязь между войной и революцией рождается одновременно и вместе с революциями, которым война либо предшествовала и сопутствовала, либо сами эти революции вели к последующим оборонительным или освободительным войнам. Сами революционные изменения в формах правления становились наиболее вероятными последствиями поражений в войне<sup>56</sup>: тогда войны превращались в революции, а революции провоцировали войну — это объяснялось тем, что обоим явлениям было свойственно одно общее и опасное качество и признак — насилие.

Но если война и не обуславливала непосредственно революцию, то во всяком случае она давала ей толчок, без которого эта последняя не удалась бы или разыгралась бы позднее. Происхождение войны и мира, полагал Дж. Вико, поскольку все республики зародились посредством вооруженных восстаний и только потом сложились при посредстве законов, связано с вечным свойством человеческой природы, полагающей, что войны всегда ведутся ради спокойной жизни народов в мире, потому «общественные войны должны вести гражданские власти, чтобы Бог рассудил их посредством счастья в победе». Это и есть настоящая «основа внешней законности», называемая «правом войны», установленная по Божественному провидению, «чтобы из войн не произрастали войны и чтобы род человеческий был спокоен за безопасность обществен-

<sup>53</sup> Сегеле С. Преступная толпа. М., 1998. С. 29—31.

<sup>54</sup> Розеншток-Хюсси О. Указ. соч. С. 451—452.

<sup>55</sup> Цит. по: СОИП. Т. 2. С. 622.

<sup>56</sup> Арендт Х. Указ. соч. С. 11—13.

ной собственности»<sup>57</sup>. Война нежелательна, но неизбежна, а перемены в общественной жизни только порождают новые войны.

По логике Гоббса, в состоянии «войны всех против всех» «ничто в принципе не может быть несправедливым... ведь там, где нет общей власти, нет и закона, а там, где нет закона, нет и несправедливости». Легитимность же приобретается только в процессе создания новой политической общности. Но, создавая эту новую «мегамашину власти», заодно создают и новые мифы: так, ниспровергая и удаляя фигуру царя-суверена, заменяют ее еще более гигантским и бесчеловечным призраком «суверенного государства», наделенного абсолютными, но далеко не божественными полномочиями<sup>58</sup>. И там, где один только суверенитет становится основой легитимности власти, все попытки урегулировать политический дискурс непременно оборачиваются войнами, а попытки революционного упразднения государства завершаются принятием нового решения и появлением нового государства: чем более растворяется в политическом дискурсе лишь частично заключенная в понятии суверенитета легитимность, тем все более тотальной и самоуверенной становится сама власть. Но означает ли это, что государство втайне мечтает о войне, чтобы избежать революции?

Война — это с формальной точки зрения настоящий юридический поступок и акт государства, поэтому в средневековой войне и не было сколько-нибудь заметного разрыва между правом мира и правом войны; но в моменты, когда имели место нарушение прав и несправедливость, война оценивалась в общезначимых юридических терминах. В реальности были войны публичные и войны частные — но публичные войны достаточно часто представлялись как частные, а частные иногда принимали по-настоящему публичное измерение. Война за права прекращалась как юридическая процедура чем-то таким, что считалось в общественном мнении победой, а победа была подобной суду самого Бога: «Раз ты проиграл, следовательно, права были не для тебя».

На смену этому типу войны и ее юридическому обоснованию уже в XVI в. приходит

новая мотивация государственного интереса; «физика государств заменяет юридические аргументы, на смену им приходят собственно политический интерес и политическая аргументация»<sup>59</sup>. (Аббат Одион из Ключи еще был в состоянии приостанавливать ведение боевых действий «с полудня субботы до утра понедельника и во время Великого поста». Из Ключи же исходило и правило принесения священной коллективной присяги во имя мира. Важным последствием «папской революции» стало еще и то обстоятельство, что она ввела в политическую историю Запада, собственно говоря, сам опыт революции. В противовес старому взгляду на светскую историю как процесс разложения было привлечено некое новое динамическое качество, острое чувство процесса, протекающего во времени, убежденность в необходимости реформирования мира<sup>60</sup>.)

Хотя войны и следуют из враждебности, они, по сути, лишь крайняя форма реализации и логики бытийно уже существующего различия: идея «справедливой войны» отвергается. У Карла Шмитта (со ссылкой на Гроция) в качестве правовой причины войны остаются не нуждающиеся в каком-либо оправдании «бытийные утверждения» собственной экзистенции — это война против «действительного врага»<sup>61</sup>. Варвары для греков были не просто «другими» и «чужими», а данными самой природой врагами, и конфликт только с иными считался настоящей войной (*polemos*) (К. Шмитт). Враг — это не частный противник, это — «общественный враг». В эпоху непрекращающихся войн имеет место некий перманентный «фронт желания и страсти», питающийся агрессивной идеей управления театрами военных действий и постоянной мобилизации, возникающий в исключительном положении, т.е. в условиях войны без конца. Вот почему это — не просто духовная или символическая борьба, а борьба в смысле онтологической «бытийной изначальности».

В XII в. ответом на необходимость поиска новых форм войны стало куртуазное рыцарство с его этикой и романтическими мифами; в XVII в. в качестве ответа на этот вызов выступил символ классической трагедии; «ответом

<sup>57</sup> Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. Л., 1940. С. 19, 23.

<sup>58</sup> Мамфорд Л. Миф машины. М., 2001. С. 38.

<sup>59</sup> Фуко М. Безопасность, территория, население. С. 392.

<sup>60</sup> Берман Г. Д. Западная традиция права. М., 1994. С. 122.

<sup>61</sup> Левит К. Политический децизионизм // Логос. 2012. № 5. С. 129.

XVIII в. был цинизм Дон Жуана и рационалистической иронии». Романтизм мог бы стать адекватным ответом при условии, что его отказ от «ночных сил мифа не являлся крайним средством его подавления с помощью желаемой невоздержанности»: «Европейская война становится осуждением мира, который вдруг возомнил, что может избавиться от всяческих форм и путем анархии освободиться от смертного содержания мира». «Тоталитарное» государство станет в будущем воссозданием смысла формы, но слишком ненадежной формы, ведь полицейские меры не создают культуры, а лозунги не рожают морали. «Между великими государствами с искусственными границами и повседневной жизнью людей существует еще много чего-то неискреннего, тревоги и возможностей. Ничто реально еще не затвердело» (Д. де Ружмон)<sup>62</sup>.

Революция, как и власть, представлялась продуктом природы. Власть первична по отношению к праву и законодательству, поэтому логично было предположить, что и революция первична к закону, а следовательно, может сама формировать и формулировать его. Но если природа является олицетворением бытия и в ней господствует необходимость, то закон выражает долженствование, находясь в сфере действия морального долга.

Революцию только предполагалось ввести в законные рамки, которые также ограничивают и власть, однако порядок, который сама революция устанавливала, не собирался в них вписываться. В структуре сил, выраженных в форме восстания или мятежа, всегда просматривалась некая определенная и осязаемая иерархия, которая требовала соответствующего нормирования, и чаще всего эти движения заимствовали свои формы из церковной или военной организации. Сами задачи, увязанные с необходимостью идейного или боевого единства, требовали выбора норм и символов именно из этих жизненных сфер. Даже антигосударственные силы мятежа в строительстве своих структур неизбежно подражали государственным институтам и порядкам, с которыми они сами же сражались: временные режимы, устанавливаемые повстанцами, копировали государственный режим, при этом даже часто позиционируя себя как «государство в госу-

дарстве!» (Так, крестьянские войны Средневековья использовали для самоидентификации и для того, чтобы иметь возможность выступать в качестве некоей единой и узаконенной силы, термины, явно заимствованные из контрактно-правовой сферы — «союз», «договор», «собрание» или «христианское объединение». Но зато «Каролина» категорически квалифицировала подобные крестьянские выступления, основывающиеся на сословном праве, как неправомерные усобицы, сурово наказывая тех, кто «устраивает эти преднамеренные и злостные возмущения простого народа против властей».)

Чтобы придать более возвышенную форму своему политическому мышлению, средневековое общество выработало для себя специфическую идею рыцарства: «Стоило это придумать, и история превратилась... во внушительное зрелище чести и добродетели, в благородную игру с назидательными и героическими правилами». Из понятия о войне как о всего-навсего расширенном поединке вытекала идея, что лучшим разрешением любых политических разногласий является не что иное, как, по сути, правовой поединок между двумя сторонами спора: и Хейзинга был уверен, что само понятие международного права уже было предварено и подготовлено именно этим рыцарским эстетическим идеалом прекрасной жизни, согласно требованиям закона и чести<sup>63</sup>.

Воздействие рыцарского идеала достаточно долго сказывалось на порядке ведения войны и военном формализме, противостоящем голому и спонтанному насилию. Революция не стала здесь исключением. Героям революций льстило, если их называли «рыцарями революции». Когда в войне проступает элемент политической (в дилемме «друг — враг») или дипломатической игры, можно с уверенностью говорить о том, что общество и его культура прилагают усилия, направленные на восстановление «мифа о страсти» для того, чтобы «соорудить для анархической силы строгие ритуальные ограничения». Внутри общества именно армия образовала «конституционное тело», мир, замыкающийся на самом себе, который не мог быть сведен только к одной такой форме, как война: это «тело» устанавливало

<sup>62</sup> Ружмон Д. де. Искусство любить и искусство воевать // Коллеж социологии. С. 589—590.

<sup>63</sup> См.: Хейзинга Й. Политические и военное значение рыцарских идей // Homo Ludens. Статьи по истории культуры. М., 1997. С. 297—300.



между огромным числом людей пересекающиеся силовые связи, изменяющие их поведение и природу. (В поэтику революции в качестве героической фигуры входит не пастырь или мыслитель, а солдат, воин как наиболее дисциплинированный и организованный персонаж, наиболее подготовленный к вооруженной борьбе «за власть и свободу». И в практике революционного переворота именно этот герой сыграет решающую роль.)

Поскольку общество в целом относительно слабо связывало своих членов, не наделяя их ни внятным смыслом существования, ни достойными задачами, «конституированные тела» (конечно же, кроме армии эту задачу всегда выполняла церковь) предлагали устойчивые связи и смысл существования. Армия по своей структуре, формам и функциям не только соответствовала этому социальному целому, в котором она пребывала, но она еще и обладала реальностью самой для себя<sup>64</sup>.

Людовик XIV еще говорил о войне, ссылаясь исключительно на юридические и личные мотивы, к чему чувство национального достоинства не имело особого отношения. Теперь же война обмирщается и на смену суда Божьего и рыцарству приходит хитрая дипломатия, сохранившая, однако, химерические надежды вести войну все-таки «по правилам». Рыцарское сословие в XVII в. утрачивает свое право на самостоятельное ведение войны: усобица была поставлена государством вне закона как преступное «возмущение» — законное право на ведение войн оставалось теперь только у монархов. (Однако и здесь акты «об установлении имперского земского мира», которые вырабатывались при участии имперских сословий, все же оставляли открытым вопрос о том, в какой мере князья были обязаны оказывать покорность императору и сохраняли ли они свое собственное право, хотя бы частично, на ведение войн. «Понятие “война” в имперском праве оставалось амбивалентным: в зависимости от того, заканчивалось ли столкновение успехом, ничейным результатом или неудачей, его характеристика... колебалась между “возмущением”, “внутренней войной” и “справедливой войной”»<sup>65</sup>).

Мощный взрыв культурного «сентиментализма» в конце XVIII в., который предшество-

вал революции и сопровождал ее, оказался явлением скорее страстным, чем политическим в строгом смысле этого слова. Нация стала объектом «перемещения страсти в коллективный план. Националистический пыл — это безудержное самовозвеличение, нарциссизм коллективного “я”: нация и война казались связанными между собой как любовь и смерть», а национальные войны вновь приобрели характер почти настоящих религиозных войн.

Но лишь тотальная война произведет полное разрушение всех договорных и юридических форм войны и станет сущностью невиданных ранее тоталитарных государств. «Однако, если тотальная война устраняла саму возможность страсти и сентимента, то политика только и делала, что перемещала индивидуальные страсти в сферу коллективного бытия»<sup>66</sup>. Все частное отступало перед публичностью войны и революции.

В ситуации же, когда абсолютистское монархическое правительство демонстративно отделялось от своего народа и только себя считало настоящим государством, война становилась неким «деловым предприятием правительства». Правда, такая позиция лишала войну самого опасного ее свойства — стремления к крайности и связанного с этим «загадочного ряда возможностей»: банальным образом размеры бюджетов сказывались на масштабах войны и определяли их. Необходимость уже не побуждала к каким-то крайностям — только мужество и честолюбие побуждало к этому, но быстро находило свой противовес в реальных условиях тогдашней экономики и государственности. Возможно, что идея нейтралитета и особенной роли нейтральных государств в ситуации войны возникла благодаря собственному юридическому подходу к событиям, свойственному эпохе. Что касается нейтральной позиции в условиях гражданской войны, то теперь она могла оцениваться как измена, причем обеими конфликтующими сторонами.

Требовалась очень большая осторожность во всех военно-политических предприятиях. Война превращалась в настоящую игру, по своему значению она являлась лишь несколько усиленной и интегрированной дипломатией, более энергичным способом вести переговоры: и, конечно же, этот ограниченный,

<sup>64</sup> См.: Коллеж социологии. С. 139, 160, 277.

<sup>65</sup> СОИП. Т. 2. С. 581.

<sup>66</sup> Ружмон Д. де. Указ. соч. С. 278—287.

«сжежившийся» облик войны был обусловлен узостью социального фундамента, на который опиралась война. Тем не менее военные стали значительной силой, которая была способна время от времени совершать революционные или контрреволюционные перевороты.

Но в революции на свет появляется совсем новая сила, и война становится уже делом всего народа. Тем самым она как бы приближается к своей действительной природе, своему абсолютному совершенству: «Так разразилась стихия войны, освобожденная от всех условных ограничений во всей своей естественной силе»<sup>67</sup>.

## 9. НЕСПРАВЕДЛИВАЯ ВОЙНА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

В ходе Тридцатилетней войны религиозное понятие «гражданской» войны все еще оставалось в рамках и терминах имперского права, и Магдебургский союз, прямо не говоря о войне, ссылаясь в оценке происходящих событий на «допускаемую, согласно божественным, естественным и мирским правам, а также имперским установлениям войну и на оборону, направленную против нарушителей общественного мира». Нейтралитет в этой ситуации оценивался как равнодушие. Для спасения империи следовало отложить все религиозные споры и сплотиться в борьбе против иностранных интервентов, «главных виновников и разжигателей бунта, беспорядков и зол войны». Здесь уже проводилось четкое разграничение между внутренней и внешней (с интервентами) войнами, теперь все можно было извинить ссылкой на государственный интерес и внешнюю войну<sup>68</sup>. Вестфальский мир окончательно устранил разделение, существовавшее между внутриимперской гражданской войной и войной международной. Имперские же князья тем самым вновь обрели статус суверенов и возобновленное право на ведение войн. Понятие войны как борьбы за сохранение права — на юридическом, территориальном и международном уровне — теперь сузилось до сферы межгосударственных отношений. Зато понятие гражданской войны потеряло свое прежнее догосударственное и религиозно окрашенное значение и целиком со-

средоточилось на внутригосударственной сфере (к началу XVIII в. имперские сословия отобрали у императора и решение вопроса о том, что считать службой и что войной).

Якоб Буркхардт назвал английскую революцию «военной». Но не в меньшей степени это была и религиозная революция, а следовательно, и религиозная война. Религиозные войны являли собой зачатки и праформы революционного движения, и секуляризационные действия государства (контроль над церковью, изъятие церковных имуществ и т.п.) только ускорили это превращение. Вместе с тем войны, которые вели между собой государства, наряду с откровенно меркантильными целями, имели и еще одну неявную цель: «Войны предпринимаются для того, чтобы преградить путь революциям или хотя бы канализовать ее»<sup>69</sup>. (Юст Липсий (конец XVI в.) в своем трактате описал алгоритм — причины, ход и окончание — гражданской войны. Причинами такой войны он считал судьбу и развращенность людей. Конец беспорядкам может положить только сильная монархическая держава: кому принадлежало «право на войну», зависело от того, кто определялся в качестве суверена. Тем самым альтернативой гражданской войне выступала активная политическая деятельность государства — никакой разумной цели, способной придать этой войне смысл, уже не находилось, да и не требовалось.)

Учение о справедливом восстании могло быть интерпретировано теперь в строгих терминах политического анализа гражданской войны — для того, чтобы утвердить мир в государстве, было необходимо категорически разделить понятия внешней и внутренней войны: «Из религиозного подозрения в еретичестве возникает настоящий политический аргумент», сама религия стала рассматриваться как политический фактор и уже из этого появляется настоящее учение о восстании и гражданской войне<sup>70</sup>.

В Средние века война, кроме прочего, обозначала еще и то, что позже стало называться «гражданской войной», однако статус ее был совсем иным — она не осуждалась и в понятийном ряду между «преступлением» и «войной», «восстание» на этой шкале рас-

<sup>67</sup> Клаузевиц К. О войне. М., 2009. Ч. 7—8. С. 121, 127.

<sup>68</sup> СОИП. Т. 2. С. 596—598.

<sup>69</sup> Буркхардт Я. Размышления о всемирной империи. М., 2004. С. 403.

<sup>70</sup> СОИП. Т. 2. С. 591—592.

полагалось все же ближе к понятию «войны», поскольку четкого разграничения между внешним и внутренним, характерного для суверенной государственности, тогда еще не существовало. Средневековое мышление допускало сопротивление несправедливой власти, отказываясь определять его как «смуту», но зато признавая его позитивным актом восстановления старинных вольностей и привилегий.

Конфессиональные догматические противоречия идеологически оправдывали любые беспорядки и столкновения, «поскольку границы между «возмущениями» и «военными действиями» были взаимно проницаемы. Даже после 1648 г. еще достаточно трудно было провести внятное разделение между международно-правовой «войной» и внутриимперской «гражданской войной». К этому времени низшие сословия уже утратили свои «юридические правопритязания на применение насилия» и в итоге их выступления можно было юридически представить как «государственную измену». Но ограничить гражданскую войну только внутригосударственной сферой, а «войну» как таковую однозначно вывести в сферу межгосударственную и зафиксировать это разделение в праве, было почти невозможным<sup>71</sup>.

И в XVIII в. при определении «гражданской войны» все еще просматривались определенные сословно-правовые дифференциации, отмеченные Гуго Гроцием — «война публичная», «война частная», «война смешанная», которую ведут между собой публично-правовые и частноправовые субъекты. Характерно, что именно в монархиях «гражданская война» исключалась из политического лексикона легальности по определению. Сословно-правовое различие здесь все еще сохранялось: «Когда не только граждане в одном городе, но и жители целой страны или империи приходят в состояние враждебного раздора и берутся за оружие либо друг против друга, либо против своих властей», налицо были преступление закона и нерегулируемая стихия войны.

Различие отмечалось также и между «публичной внутренней войной», которая ведется между властителем страны и его подданными, «внутренней частной войной» между подданными и собственно «гражданской войной»,

когда речь идет о «поединке или дуэли»<sup>72</sup>. (Во «Всеобщем земском праве» (XVIII в.) устанавливалась шкала государственных преступлений, включающая «государственную измену» внутри страны, «измену стране» и преступления «против внутреннего спокойствия и безопасности государства», под которые попадали смута и возбуждение недовольства. Государственная измена определялась здесь как «деяние, нацеленное на насильственное изменение государственного строя в стране или направленное против жизни либо свободы главы государства», в комментарии к этому закону такое преступление уже однозначно определялось как «насильственная революция»<sup>73</sup>.) Гражданская война теперь не объяснялась только действиями еретиков, но связывалась с упорным нежеланием сторон терпимо относиться друг к другу: эсхатологический мотив здесь определенно слабеет и секуляризируется: теперь бремя доказывания справедливости переносится с «веры в конец света» на самого суверенного монарха и его способности — «мир был бы очень скоро уничтожен, если бы все монархи вдруг вздумали, что можно законно вести религиозные войны»<sup>74</sup>.

Как правовой порядок, так и войны завершаются с «удалением корней» — в гражданской войне ни одна строгая форма не в состоянии дать устойчивую норму войне, определить ее в точных терминах и границах, здесь исчезает сама возможность определить идею справедливой причины, «в чистый окказионализм сливаются черты права и бунта». В этой ситуации государство легализуется своей способностью нейтрализовать гражданскую войну и рационализировать внешнюю войну: «Из конфликта между непримиримыми идеями (которые в итоге предстают настоящими религиями) “полюмос” должен был преобразоваться в борьбу между потенциями — в силу различных целей участвующих в борьбе сил, признающих себя правовыми оппонентами. От “номоса” здравого смысла Средневековья, никогда не оспаривающегося в бесчисленных войнах, к искусственному комплексу норм, пактов, регулирующих отношения между государствами, — такой путь урегулирования про-

<sup>71</sup> СОИП. Т. 2. С. 574.

<sup>72</sup> См.: СОИП. Т. 2. С. 609.

<sup>73</sup> Цит. по: СОИП. Т. 1. С. 610.

<sup>74</sup> СОИП. Т. 2. С. 604.

ходит международное право»<sup>75</sup>. (Искоренение номоса всегда связывалось с утратой его корней в божественном законе: и стоицизм, эпикуреизм и скептицизм были первыми союзниками в деле его искоренения.) Легальное правительство само решает, кто является врагом, против которого должна бороться армия. «Тот, кто берется определять, кто является врагом, притязает на собственную новую легальность, если не желает присоединиться к определению врага прежним легальным правлением»<sup>76</sup>: легальность всегда оказывается сильнее, чем любой иной вид субъективного права.

Несовпадение принципов «ограниченной» и «тотальной» войн современности подчеркнул Клаузевиц: в Новое время происходило превращение обобщенного коллективного насилия, непрекращающейся гражданской войны в «войну по форме», которую вели юридически признанные государства по определенным правилам и соглашениям. Война была войной равных, которую вели в соответствии с «правом на ведение войны» и «правами войны», что в итоге предполагало также и заключение мира на равных условиях. «Право на войну было разведено с соображениями «законной причины», которую объявили искусственной при определении легитимности войны»: справедливая война Средневековья уступала здесь место более современной «недискриминационной концепции войны». Фактические причины объявления войны предусмотрительно выводили за пределы юридического суждения, что предполагало сохранение за врагом, даже во время войны, статуса законного врага, а не преступника. Понятие войны становилось актом одновременно публичным, поставленным в определенные рамки и недискриминационным, т.е. нравственно нейтральным. (Тогда же произошел и заметный сдвиг от «права народов» (когда врагам-«варварам» грозило полное искоренение) к более консенсуальному «праву между народами»<sup>77</sup>.)

Революция вносит свои социальный и национальный мотивы в обоснование причин начала войны. Народный характер новых войн

означал мобилизацию всех ресурсов страны и взламывание государственных границ, максимальное расширение пространства военных действий. Рождение нового революционного права делало невозможным их правовое согласование и консенсус между противниками в пределах «общего права». Теперь они говорили на разных языках. В концепции народной войны уже содержались зародыши войны тотальной.

Свой вклад в трансформацию «права войны» вносят и гражданские войны. С тех пор как стерлись понятийные различия между просто «войной» и «гражданской войной», между «гражданской войной» и «революцией», формы ведения борьбы на земном шаре снова радикализировались: «Терроризм и партизанская война сделались едва ли не нормальными элементами политики» (Карл Шмитт)<sup>78</sup>. (Ф. Энгельс подчеркивал, что революционеры-«ниспровергатели» значительно больше преуспевают с помощью легальных средств, чем с помощью нелегальных или с помощью переворота. Это означало, что закон и право оказывались на стороне грядущей пролетарской революции. Поэтому она — легитимна, и «право на революцию» является единственным действительно историческим правом, и поэтому она может пользоваться всеми доступными средствами<sup>79</sup>.)

Для легализации гражданской войны можно было представить самые разнообразные юридические доводы, наличие которых давало сторонам право братья за оружие. Рубеж, который, с правовой точки зрения, обозначал переход восстания в гражданскую войну, требовал наличия у «смутьяна» правомерных и обоснованных, с точки зрения естественного права, мотивов для его борьбы против «террористической системы». С какого момента начинается собственно «гражданская война», решал один лишь успех, и тогда тот, кто «являлся политическим преступником, с точки зрения старого режима, мог превратиться в спасителя отечества»: «По окончании гражданской войны остаются только победители и побежденные, а не верные долгу и преступники»<sup>80</sup>.

<sup>75</sup> Каччари М. Геофилософия Европы. М., 2004. С. 106.

<sup>76</sup> Шмитт К. Теория партизана. М., 2007. С. 129—130.

<sup>77</sup> Тешке Б. Решения и нерешительность // Логос. 2012. № 5. С. 6—8.

<sup>78</sup> Шмитт К. Указ. соч.

<sup>79</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22. С. 546.

<sup>80</sup> Цит. по: СОИП. Т. 2. С. 714.



Однако практика такой войны показывала, что каждая сторона рассматривает другую именно как преступника, а не как легитимного противника и «вместо заповедей солдатского долга на такой войне царит только взаимная ненависть»: исторический опыт продемонстрировал факт, что гражданские войны ведутся более жестоко, чем войны национальные. Поэтому и «страсти, которые возникают вследствие одной лишь межпартийной борьбы, часто носят такой яростный характер, что могут уничтожить все хорошее». Как только возникает война внутри государства, ее исход и последствия невозможно предвидеть: «Не право, а успех имеет здесь решающее значение, и поэтому... неправильно бороться со злом порочного порядка с помощью зла абсолютного беспорядка» (Гарве) «Дикая демократия есть самое опасное чудовище, какое только можно себе представить»<sup>81</sup>. Особую сторону ресентименту во Французской революции придавало острое и ничем не оправданное чувство равенства, неожиданно «родившееся у тех, кто восстал против господствующего строя», как раз там, где равные политические права и публичное социальное равноправие оказались соседствующими с огромными различиями в фактической власти и имущественном положении.

«Ресентиментную же критику и отличало как раз то, что на самом деле она вовсе не желала того, что выдавала за желаемое; она критиковала не для того, чтобы устранить зло, а лишь использовала зло как предлог, чтобы высказаться»: здесь налицо врожденная робость перед властью, но не настоящая воля к власти<sup>82</sup>. (В марксистской интерпретации гражданская война предстает нормальной повседневностью классовой борьбы. В самой эволюции уже была скрыта революция, кото-

рая станет в будущем однократным и последним решением. Реформизм, зародившийся в легальном марксизме, предполагал, что законы экономического развития вовсе не обязательно ведут к катастрофе, которая должна была спровоцировать революцию: «Либеральные учреждения не нужно разрушать, их достаточно просто усовершенствовать. Для этого требуется организация и энергичные действия, но не обязательно революционная диктатура» (Э. Бернштейн). Социальная революция, в отличие от социальной реформы, может сопровождаться гражданской войной, которая «не обязательно должна быть кровавой», но обязательно должна завершиться легальной политической революцией, т.е. законным захватом власти (К. Каутский)<sup>83</sup>.)

В ходе гражданской войны реформаторы часто оказывались вовлеченными сразу в войну на два фронта — с объявленными врагами и с бунтующими собственными сторонниками. И «если они не изменялись сами, то во время второй или третьей революционной волны их оттесняли в сторону радикалы. Жажда власти и народные движения взаимно распяли друг друга: «Но в этом-то и была беда революций и такова будет вся их дальнейшая история, если они в течение длительного времени будут продолжаться, не приводя к победе ни одной из сторон» (поэтому Гёррес изображал революцию как настоящую хроническую болезнь и кризис<sup>84</sup>), но именно в условиях гражданской войны, как это ни парадоксально, революция стремится обрести свою настоящую легитимность, силой отстаивая свои представления о справедливости и подтверждая свою правоту фактическими военными победами: истина факта — это и есть самый убедительный аргумент революционной идеи.

Материал поступил в редакцию 12 октября 2017 г.

<sup>81</sup> Цит. по: СОИП. Т. 2. С. 632.

<sup>82</sup> Шелер М. Ресентимент. С. 23.

<sup>83</sup> Цит. по: СОИП. Т. 2. С. 674—675.

<sup>84</sup> Цит. по: СОИП. Т. 2. С. 655.

**"THE REBELLION CAN NOT END WITH GOOD FORTUNE..."  
(LEGAL BASE OF REVOLUTIONARY MYTH). PART 2**

**ISAEV Igor Andreevich** — Doctor of Law, Professor, Head of the Department of History of State and Law, Kutafin Moscow State Law University (MSAL)  
iaisaev@msal.ru  
125993, Russia, Moscow, ul. Sadovaya-Kudrinskaya, d. 9

**Abstract.** *The article attempts to identify and analyze the impact of revolutionary ideas, taken to an extremely deep ontological level of existence, on the processes of state and right construction. "Revolutionary peace" or the ideology of the revolution is implemented in the existing legal rules and legal policy. Test analysis can detect some common to all historical revolutions algorithm and patterns. Clarifying legal differences in the assessments of such phenomena as "rebellion", "mutiny", "uprising", etc. it is possible to more specifically denigrate the legal framework of the phenomenon of revolution.*

*The political aspects of this phenomenon became crucial in the evaluation of revolutionary action and transformation, depending on the results of the revolutionary struggle which defined its legitimacy as well. As for the legal grounds of the revolution, their relative nature was obvious. The changing legal terminology through which were used to describe real revolutionary acts and events, to a certain extent was dependent on the actual correlation of forces and the position of the legislature.*

*The struggle marked the beginning of a revolutionary phase of the development that materially changed the principles of public administration, forms of government and legal system of the state. The desire for renewal combined with the use of organizational and constitutive violence. A natural result of the struggle becomes a civil war and the onset of dictatorship, which to some extent can be described in the language of law and jurisprudence. Revolution, which was presented at the global importance and permanence, has become a powerful historical force that influenced the development of all modern world state and legal systems.*

**Keywords:** *legality, legitimacy, justice, violence, dictatorship, tyranny, insurrection, mutiny, rebellion, resentment, anger, slave, master, war, class, balance, peace.*